



С. Н. БУЛГАКОВ

Ялтинский дневник

№ 3

16 июня 1921 г., по возвращении из церкви. Сегодня совершал божественную литургию в Гасприйском храме¹. Бог дал литургичною молитвою освятить исполнившееся 50-летие моей жизни. После 49 жизнь уже определенно катится под гору, чем дальше, тем быстрее. А вместе с тем такая легкость, такая свежесть и юность в душе! И это теперь, когда обстоятельства так зловещи и грозны. Оба наши старшие, и Федичка², и Муночка³, ушли за хлебом, первый на тяжелые работы. Будущее сулит голод и холод, б<ыть> м<ожет>, сверх того и политические злоключения. Нахожусь в параличе и обречен на ненужность, и все-таки «слышу, как сердце цветет». Что делать глупому парню, уродившемуся вечным недорослем? Или это драгоценный дар Божий — все снова и снова припадать к кубку жизни и жадными глотками впивать искрометное ее вино... Одно несомненно дает возраст: научает ценить жизнь как высший дар Бога Жизнодавца. Мы не умеем смолоду ценить жизнь, так как слишком пьяны ею, слишком заняты собою и рисуемся. Но когда с годами отходит и эта пряность, и эти иллюзии, в подлинной ценности выступает благо жизни и дар жизни, который никогда не отвергнет — вплоть до конца — никакое живое существо, ни даже сатана, и хотя и клеветет и хулит Жизнодавца. И, вместе с годами, все яснее печатлется <?> бессмертие жизни, — не веришь ни в какие ее сроки, ни в старость, ни в смерть, а только в жизнь. Свеча, все сгорая, переходит в свет и тепло, которые с избытком возмещают отгоревшую часть ствола.

Я встречаю свое 50-летие взласканный Господом Богом: вокруг вся семья моя, все пока (надеюсь) живы и здоровы, что самое главное, а все прочее приложится. Далеко от меня друзья

мой, но имею надежду на скорое свидание и с ними — Слава Господу.

27 июня 1921 г. Вчера поминали Ивашечку⁴ в его церкви. Время и испытания сделали свое: к чему себя обманывать, прошлое умерло, не возвратно, конечно, но уже возвратно для здешней жизни. Теперь сознание, что Господь взял его от скорбей земли, совершенно уничтожает скорбь, поблекли и воспоминания. Остался только чистый молитвенный образ небесного ангела, нам помогающего. Жизнь наша становится все трудней и суровой. Надежды на Москву блекнут, как это выяснилось из рассказов приехавшей Маруси, всюду тяжело (?). Нас спасти может только чудо милости Божьей. Да будет воля Твоя!

6 августа 1921 г. Преображение Господне⁵. Сегодня я, по воле Божией, отлучен от богослужения (опять вследствие нарывов на ногах). Первый раз за свое священство со мною это случилось, и притом в *такой* праздник, в *мой* праздник, ибо в безумии своем чаю раньше смерти видеть Царство Божие, пришедшее в силе, раньше смерти пережить... преобразование. Разумеется, устрашающий пример А. Н. Шмидт⁶, которая была уверена в своем преображении и — просто умерла. Но относительно ее все так таинственно.

За это время решила, очевидно, моя судьба на ближайшую зиму. Я находился в полной безысходности. Москва все больше уходила из поля зрения, и зима представлялась темной и страшной дырой. Здесь, в Олеизе⁷, атмосфера становилась все тяжелее. И вдруг — получил предложение занять место в Ялт<инском> соборе, чем сразу разрешаются многие трудности: я остаюсь здесь, вблизи своих, получаю храм, амвон и даже кафедру, известный заработок и даже известные возможности доставать книги. Вообще, туча разорвалась, и оттуда льются солнечные лучи благодати Божией. Господи, благослови меня и укрепи! Я верю, что Господь ведет меня, и Он укажет время, когда нужно вернуться в Москву, но пока время это верно еще не пришло! Становлюсь здесь под стяг св. Александра Невского. Неужели же, как говорит сердце, скоро придет здесь час *его* помощи и *его* выступления для спасения России? Из Петрограда пришли беды на Россию, и хранитель Петрограда и будет ее освобождать (!). Надвигаются какие-то события!..

13 сент<ября> 1921 г. Ялта. Вот я и в Ялте, служу в Новом соборе, живу около храма, под звон, как благодатное дитя Бо-

жие. Не хочется слышать и различать (хотя человеческим ухом и слышу, и различаю) суету, дразги вокруг себя, — мне это неинтересно в сравнении с великим, у чего я стою. Предо мною распахиваются страждущие сердца, я могу молиться и ежедневно литургисать в свою неделю, чего мне еще просить у Бога! Помоги, Господи, прокормить семью, а это становится все труднее, нужда в хлебе все ощутительнее. Детки остаются неустроенными, без учения. Но все, все от Господа. Есть интересные встречи и беседы. Ах, как хотелось бы знать что-л<ибо> о Друге⁸, иметь от него, как мне нужна его поддержка. Ужасные вести о Вяч<еславе> Иванове, — как тяжела была его жизнь за это время и как страшна судьба теперь, — новое и страшное кровосмешение!⁹ И как будто его наталкивает на это внешне судьба! Господь испытует иногда тем, что дает проявиться силе греха до конца, — как это, по-человечески судя, непостижимо! Вера Конст<антиновна>, очевидно, отошла к Господу в мире и молитве. Господи, помоги нам всем, укрепи и утверди!

22 сентября 1921 г. Живу в Ялте. Анабиоз. Тишина захолустья. Одиночество. Ежедневная служба и молитва, наподобие монастыря, но нет близких по духу, нет друга, нет общины. Все, что имеет совершиться, совершится чудом, наитием Св. Духа, так что мы сами себя не узнаем. От нас только вопрошание, тоска по неотвеченному, скорбь. Человеческие усилия малы и тщетны, и для нас, изнемогающих, невозможны. И однако сегодня почувствовалось мне остро за литургией пред Св. Дарамии, — конец уже близок, желанное сбудется вскоре, недалек час освобождения. Сижу вечером один, в полутьме. Нужно иметь большое духовное содержание, чтобы жизнь черпать из себя, но вместе с тем это лучшая проверка того, что принадлежит нам и что мы себе присваиваем. Останься один и познаешь себя, — увы! — в своей малости. Думаю о своем «творчестве», но бессильно. Вчера мелькнула малодушная мысль: не есть ли вера в свое особое избранничество, «встречу» и «событие», не есть ли и это... самомнение, которое разлетается в суровые дни испытания? Но нет, это — греховная, искусовая мысль, да и разве это самомнение? Разве Бог не глиняный сосуд избирает для Своих целей? И затем, моя непреклонная вера, что совершится чудо, но оно будет и концом моей жизни, связано со смертью («смертью прославишь Бога», как писал в том письме о. Павел Ф<лоренский>), — разве она не мирится с неудачничеством, никчемностью и пустоцветством моей жизни и моим бессилием теперь? Ведь не по заслугам, но по благодати избирает Бог Себе

служителей и избрал меня, слабого и недостойного, быть свидетелем Божественной Софии и Ее откровения. Может быть, и приближается конец моей жизни, но еще целое событие меня от него отделяет, и он еще не наступил.

Было время, когда трепетание душевное давало чувство вырастающих крыльев, когда загоралась радостная заря и была надежда, что личным усилием, личным творчеством совершится восхождение. Теперь все личное задавлено и обессилено, остается только тихий, но неумолчный зов: ей, гряди, Господи Иисусе!

Когда я посвящался, я говорил себе совершенно отчетливо, что я приношу в жертву Богу не только себя, но и семью. Но тогда я не знал, *что* я говорю и *что* это значит; я рисовал перед собой и думал, самое большое, о тех трудных переживаниях, которые я доставляю семье, не больше. И, в сущности, я думал, что на самом деле ее жизнь будет лишь интереснее, глубже и радостнее. Я *говорил* о жертве, не ведал и не думал, что она означает, чего она требует. Только теперь я *начинаю* (да и то только едва начинаю) прозревать, что означает на самом деле жертва — не в жесте и в позе, но в жизни. Моя жертва принята Богом, — жертва Авраама и Исаака¹⁰, какой является всякая жертва (как и жертва Сына Божия и Отчая). Моя жизнь исковеркана, но она само по себе *для меня* нетрудно и не тяжело, но из-за меня исковеркана жизнь всей моей семьи, моих милых, детей моих. Если Муночка томится и чахнет, теряет лучшие годы и остается без образования, то это потому, что я — в опале; если Федя не учится и должен лучшие годы отдаваться на борьбу за существование и остаются неразвитыми и невыявленными его художественные задатки, это тоже из-за меня, *п<ото>му> ч<то>* в прежнем своем положении я, если бы пережил это время, мог бы обеспечить ему возможность учиться. Если голод своим кольцом все плотнее охватывает *всю* мою семью, дорогую мою Нелю и Сережечку¹¹, это тоже не без связи. И тьма, которая окутывает нашу жизнь и пугает *<нрзб.>*, есть тьма Гефсиманской ночи¹². Да, *я* виноват в их страданиях и неудачничестве, я говорил о жертве, изъявлял на нее готовность, и Бог *принял* эту жертву. Господи, дай мне сил на Голгофу, я верю, что Ты ведешь, что все совершается к лучшему, ибо по Твоей воле, и я склоняюсь как ведомый агнец. Прими жертву и дай мне силу любить Тебя, как *Ты* этого хочешь! Но по-человечеству, во имя которого и Ты молился: если возможно, да мимо идет мя чаша сия¹³, и я прошу: Господи, пощади их, спаси, сохрани! Дай мне силы и мудрость, дай мужества в трудное вре-

мя! Дай быть опорой семьи во всех смыслах, дай пастырскую мудрость и твердость. И еще молитва: дай мне видеть и почувствовать Друга, его помощь, любовь и ласку, ибо без него я вяну.

Не могу распознать, что означает мое поселение здесь, есть ли это временный искуc и испытание или же медленно надвигающаяся смерть. Однако хотя покорно приемлю и последнее, но греховной слабостью считаю этой мысли отдаваться. Да будет благословенна *жизнь*, она есть высшее благо, высший дар Жизнодавца, и да будет далеко малодушное уныние!

26 сент<ября> 21 г. Ялта. Вчерашний день, мои именины, память преп. Сергия, навсегда останется памятен. После трех лет разлуки в этот день мне Бог дал провести именины в семье, в кругу любимых, благодаря Бога, помолиться вместе, причастить Сережу. Но день этот был омрачен сначала глухою вестью и тревогой о Котике Михайлове, потом стало известно, что найдено тело, а затем мы встретили и самую скорбную процессию. Слов нет выразить это, сердце разрывается, ум не вмещает, и только можешь плакать и молиться о нем, о живых, оставшихся жить без него, и о России, на которую раскованный сатана выпустил всех демонов своих и по этому мистическому заговору истребляется все русское, благороднейшее, остаются осатанелые и жидаы. Господи, спаси Россию, я знаю, что Ты ведешь, и Твоя благодать мудрее и сильнее зла, но яви нам десницу Свою! А Федя за несколько дней был чудесно спасен от такого же нападения дорогой. Благодарим, Господи! Господи, дай мне силу молитвы и веры, чтобы помочь оставшимся!

5 окт<ября>. Ялта. Живу здесь близ храма, под колокольный звон, словно на дне реки, в затишье, материнском и ласкающем... Совершаю каждодневно литургию — в свою Седмицу, молюсь. Душа детски молчит. Умственная жизнь заволакивается пеленой, — за ненужностью и от неупотребления. Духовная жизнь, разумеется, слаба, много слабее, чем должна и может быть, — пасую перед ничтожными искушениями, но в общем такое чувство, словно я качаюсь в люльке матери: странное чувство — покоя и безмятежности среди всеобщего мятежа... Надо благодарить Господа за всякий день, Им посылаемый. Не надо поддаваться искушению быта, которое здесь подстерегает. Иногда спрашиваешь себя, словно в полусне: но где же мои огненные упования, где встречи и встреча? Но не надо себя сочинять и насиловать, пусть зреет зерно до времени, которое

придет... Перебираются сюда дети, их изгоняет нужда; их жизнь безрадостна... Но да будет благословенна жизнь, она есть высшее, единственное благо...

Русский народ остается в оцепенении, ему еще не пришло время очнуться, но оно приходит. В душе нет ни отчаянья, ни страха об его судьбе, большой великан трагически совершил безумные грехи, но еще станет Христофором¹⁴, обретет в сердце своем рождающегося Христа. Сие буди, буди!

6 окт<ября>. Сегодня после литургии Ньюра, чудесная и восторженная швейка, живущая в Боге, просила у меня разрешения — остаться ей на ночь в церкви, говоря, что она уже оставалась прежде. Я не смог ей этого разрешить без настоятеля (а у него она спросить не хотела), а сам я благословил ее, — поступив нерешительно и двусмысленно, как мне свойственно. А затем пораздумался и недоумеваю до сих пор. С одной стороны, у меня есть полное доверие к чистоте и молитвенности этой девушки, и ей *мало* общей храмовой молитвы, она жаждет большего, ночных молитв и восторгов, но в то же время я боюсь, что это сверхмерное и недолжное дерзновение может ее повести в прелесть, перенапрячь ее силы... И сам недоумеваю... Господи, вразуми недостойного Твоего иерея! Во всяком случае явно, что нет на то воли Господней, ибо своей волей я не вправе ей разрешить. С нею была и другая восторженная визионерка и молитвенница, 16-летняя Клавдия, которая однажды имела со мною беседу, — это <.....?> в то же время совершенно охваченная умною молитвою, астральным ясновидением и сумбуром от чтения книг вроде Нилуса¹⁵. За нее боюсь, как не боюсь за чистую и ясную Ньюру: не справится со своим внутренним миром, но и люблюсь и радуюсь на эти живые чудеса Божии... Она — гимназистка — в наш век пламенно стремится в монастырь, задыхается в миру. И это в наш век, рядом с разными комсомолами. Как смешны и бессильны они со своими попытками угасить огонь веры в человеке...

Моя жизнь — вне храма — полна обыденщины. Устраиваю детей на службу, езжу по делам. Умственным трудом совершенно не занимаюсь. Некогда, нечем, да, очевидно, и уж не моего ума дело. Господи, помоги мне не погрязнуть духовно, дай опыт молитвы и силу веры!

17 окт<ября>. Вернулся от вечерни после беседы о молитве Господней. Особое чувство от этой беседы в полутемном храме, — что-то катакомбное есть в этом. И даже остается извест-

ное удовлетворение, — жаждет земля стяжания Слова Божия. Господи, помоги мне! А сам я вчера и сегодня в смятении: с одной ст<ороны>, над Олеизом опять занесена рука, и сжимается сердце за В. Ив., а с другой — хозяйственный наш кризис не смягчается, и Тришкин кафтан вытягивается во все стороны. Конечно, греховное малодушие, но за детей болеешь душой. На все воля Божья! Тихий вечер после трудного дня. Сижу один в пустой квартире, слышен бой часов и каждое движение.

1 ноября 1921 г. Ялта. Вот и ноябрь, — дожили и до ноября. А летом казалось, что уже в октябре погибнем от голода, темноты и холода. Сюда в Ялту переехала Муночка, поступила на службу. Приходится мне ехать на детях, их эксплуатировать, вместо того, чтобы содержать их самому. Но благодарение Господу, что живем. Получил из Киева назначение в Инст<итут> нар<одного> хоз<яйства>. И вызов — первый за это время реальный проблеск на будущее. Вчера вел беседу в церкви. Жизнь без перемен, тишина и затишье, среди которого страшные кошмары. Ровно год, как я приехал в Олеиз, — год испытаний и чудес...

7 ноября 1921 г. Трудная и тяжелая была неделя, — испытаний. Муночка попала было на место (довольно-таки двусмысленное политически), но была оттуда через несколько дней выброшена, и за негодностью, и м<ожет> б<ыть> из-за человеческой жестокости. Она, бедная, страдала, а за нее и с нею и я. Вообще, как и раньше, Мун<очкина> судьба есть для меня постоянная тревога и боль, — конечно, это мое маловерие. Так было всегда, вследствие трудности ее характера, а особенно в дни посвящения, и после, и теперь. Я не могу не сознавать, что из-за меня она страдает: не умел и не мог воспитать, сам отдавшись растлевающему влиянию <окружающей?> праздности и сытости, и, вместе, обрек ее на испытания, вступая на путь священства. Оно есть более всего жертва, — я так хотел, но губами это звучало красивее и отвлеченнее, чем теперь, когда облеклось в плоть и кровь прозаического существования, обивания порогов, унижений и щелчков. В глубине своего сознания я твердо знаю, что моим посвящением семья моя — и Муночка — спасается от зла, но житейски порою малодушествую. Она соблазняется, как раньше соблазнялась разной дрянью, так и теперь, легкостью спекулятивного обольщения <нрзб.>, дает его низкой, плотской стихии и самодовольству минутным успехом слишком большую над собою власть, а я слишком прислушива-

юсь и реагирую на в ней происходящее, и бессилён ей помочь. Молю Господа и Пречистую Матерь вразумить, помочь и укрепить ее на путь благой. И верю — твердо верю, что ко благу нам посылаются теперешние испытания, обличая тлен нашей прежней жизни и полагающие начало новой. Но по-человечески не могу не скорбеть, видя, как дети теряют лучшие годы, а, м<ожет> б<ыть>, и дичают в этой нужде, в этой борьбе за существование... А наряду с этим как будто в сердце стучится новая волна новых мыслей, чувств, постижений. И душе является радость творческих созерцаний, когда кажется, что не напрасно шло время, что незримо в душе нечто зреет и зрело. Как будто явилось новое чувство и новые мысли около вопроса о поле, а все это связано с чаяниями о Св. Духе Утешителе. И такая радость подымается в душе, чувствуя этот прибой и новый прилив... — Читал больш<евистский> журнал: по-своему и в своем они правы, правы и о западной буржуазности, которой они сами последнее слово. Их нельзя опровергать в их плоскости, п<отому> ч<то> всякое такое опровержение будет на самом деле компромиссное «соглашательство», их можно только *превзойти*, преодолеть из *новой* жизни: кто во Христе, тот новая тварь. Но — Боже! — как это трудно, — трудно всегда, особенно же в час испытания, когда, бессильная, оставлена Христова Церковь, и «знамения» не дается нам, когда поруганы святые, в музеях стоят св. мощи под гогот неверия и нет молний с неба, нет защиты. Но Господь, когда придет час, даст защиту, пошлет вдохновение, воспламенит сердца... Ей, гряди же, Утешитель, гряди, гряди, гряди!

17 ноября 1921 г. Ялта. Сегодня день рождения нашей Муночки, ей исполнилось 23 года. Благодарение Господу, она с нами и здорова, и вообще мы все вместе. В прошлом году Федя был в безвестности, она вдали от нас в Симферополе, и надвигался кровавый кошмар, сегодня же над нами нужда, но мы живы. Господи, благослови жизнь нашей девочки. Пречистая Матерь, сохрани ее сердце. Конечно, по-человечеству, отцовски я ей могу желать только хорошего мужа — и это у меня, по обычаю, превращается в *idée fixe*¹⁶, но это — малодушие. Я поддался ее настроениям и моменту: при свете опыта собственной жизни и всего окружающего разве я могу считать теперь замужество действительно тихой пристанью, успокоением, да еще при Муночкином капризном, требовательном и слабом характере? По крайней мере, все, кто попадались на ее пути, несомненно, не дали бы ни покоя, ни опоры, и, вслед за коротким увле-

чением, последовала бы долгая горечь, разочарование... Не умею ей помочь своим слабым умом и волею и чувствую безмерную вину перед ней. Но спокойно вверяю ее и судьбу ее Господу. Если не устраивается ее личное счастье, стало быть, нет его в планах Божьих. Сегодняшняя ночь мне это как-то неожиданно <открыла?> и успокоила. Да будет воля Его.

25 ноября 1921 г. Пришли письма из Москвы и повеяло московской жизнью, бодростью и дружбой. Переезд в Москву стал как-то близок и реален. От о. Павла нет прямых вестей, но есть о нем. Он жив и жизнен, ибо у него за это время родился сын Михаил. Молчаливое, но достаточно сильное утверждение жизни вопреки всему развалу! М. В. Нестеров¹⁷ прислал снимок с нашего портрета, как радостно я был им взволнован, как вспомнились эти дорогие, лучезарные дни и вечера в домике о. Павла под кровом преп. Сергия в тихой, задушевной беседе... Господи, как Ты милостив ко мне, посылая Друга и столько дружбы... Себя на этом портрете я ощущаю уже определенно как не-себя: он совершенно верен, но *того* уже нет, он умер, испепелился в огне посвящения. И лицо (духовное) у меня теперь совсем *другое*, проще, скромнее, мягче (?), дисгармония разрешилась, и потом нет этого пошлого штатского платья, внушающего брезгливость, эстетическую и мистическую... И еще сильнее сознаю я и чувствую, как недостойн я стоять рядом с о. Павлом, какое недоразумение в этом *совместном* портрете (что я для него и рядом с ним), но пусть буду как фон, как эти деревца, но все-таки с ним и около него. Сижу и смотрю на эту мудрость, свет и силу, спокойствие, льющееся от всей его фигуры... Большое письмо от аввы¹⁸, любящее, полное известий о друзьях.

Завтра годовщина великой, бесконечной милости Божией, чудесно к нам явленной: получение известия от Федички... Я позабыл было даже этот священный срок, но мне напомнила моя Неличка. Господи, какое это было потрясение души, как это было чудесно! Накануне приехал О. С. Иванов и убил надежду тем, что в Москве никакого следа Феди не оказалось. На следующей день была служба в Гаспре, я еле нес себя от подавленности, хотя после причащения стало ясно и мирно на душе. Спустился вниз, и встреча с Нелей, которая, смеясь, плача и не доверяя, шла получать письмо. Идем вместе, не идем, а летим, вне времени и пространства, и, наконец, вдруг радостная, ликующая весть... А затем общая радость, восторги, поздравления, благодарственный молебен в столовой и общая, благодар-

ная молитва. Вечером Дроздов с таким горячим приветом... Когда вспоминаешь это чудо, так стыдно греховного своего ма-ловерия, так хочется плакать, молиться, благословлять Бога... И теперь Федичка живет со мною, — не так, как чаялось и как хотелось бы, в теле раба, советским невольником без кисти и палитры, но зато такой светлый, самоотверженный, любящий, заботливый: то, чего не было в нем *до* этого страшного часа. И верно Господь ведет его и нас Своей стезей, чтобы научиться нас не носить с собою, но просто молиться и благодарить. Нынче ночью он отсутствовал на дежурстве, и так было страшно за него, так живо чувствовал бесконечную милость Божию в его возвращении. Жизнь есть высшее благо, дар Божий, перед которым *все* остальное условно и производно, и вот будем вме-сте все, общими силами, отстаивать жизнь. Слава Тебе.

2 декабря 1921 г. Ялта. Сейчас будет молебствие с освящени-ем нашей квартиры. Благослови, Господи, житие наше здесь!

Сегодняшняя ночь была примечательная и, б<ыть> м<о-жет>, еще раз поворотная в моей жизни, — трудная и даже страшная. У меня была бессонница от тревоги, от холода, от скорби при виде моих дорогих деток, находящихся в тяжелой неволе. Но вдруг моя мысль понеслась в совершенно новом и неожиданном направлении. Вчера мне заявила Е. К. Ракитина о своем желании перейти в православие, — для нее это просто есть возможность настоящей церковной жизни, но это дало толчок моим дремавшим чувствам и никогда не гаснувшей боли о разделении Церквей. Я почувствовал со всей остротой, что про-сто присоединить настоящих католиков я не могу *хотеть*, ибо у меня несомненное чувство, что и они в настоящей Церкви и мы в не вполне настоящей, как и они, что разъединение есть рана на обеих и что же тут делать?¹⁹ И все, что обычно говорит-ся о различиях исповеданий, есть лишь лепет и жалкие само-оправдания, — и догматы, и даже Папа, и опресноки²⁰. У нас есть восточное православие как *жизнь* церковная, у них есть свои прекрасные стороны, — дисциплина, умилительный культ Сердца Иисусова и Богоматери и многое. Главное же у них есть универсальное вселенское чувство Церкви с универсальным ла-т<инским> языком, при *местных* обычаях и т<ак> ск<азать> разночтениях, а у нас только местное: наш церковно-славян-ский язык есть историческая случайность, нам дорогая, но уже умирающая (что иное говорит теперешнее бессилие и безвкусие сказать хоть что-нибудь на этом славянском языке, а не на ку-хонной семинарщине<?>). Мы, приняв христианство от греков

вместе с дивным восточным обрядом, приняли их *местную*, национальную себялюбивую распрю с Римом и раскол, от которого погибла Византия, как от кары Божией, но, умирая, и нас заразила трупным ядом, действующим в разных митр<ополи-тах> Антониях²¹ и присных. Мы сразу вверглись в провинциализм, который в Москве возведен был в догмат «Третьего Рима»²² (и здесь только пародируя Рим первый и единый), за что были наказаны синодальным Петербургом²³, а теперь суд Божий над Россией и Русской церковью разразился в большевизме и в бессилии духовном и духовной оставленности Церкви. Да, мы имели великих русских святых, русскую святость и благочестие, но все это как поместное, приходское благочестие, и наивен тот, кто, как Новоселов и многие иерархи, эту «духовную жизнь» смешивают с Вселенской Церковью. Этого не исключает, не отнимает Рим, этому он, будучи мудрым, и не мешает. Мне совсем в новом свете предстал новый путь католичества вост<очного> обряда. Ничему не мешать, ничего не гасить местного, только разбить эту удушливую преграду, ограниченность... Да, это именно так... И мы должны, думалось мне, совершить жертвоприношение, самоотвержение ради истины: покаяться во грехе...

3 декабря. Эти мысли налетели на меня как вихрь, голова работала с горячечной быстротой, сердце стучало. Я со страхом думал: Господи, неужели еще не кончен мой путь, и новое дело, новую жертву, новое перевоплощение требуешь Ты от меня? Я знаю, как страшен, как жертвенен может быть этот путь, я не чувствую ни сил, ни молодости к нему, он дал опять неожиданное отклонение от намечавшегося мною иного пути. И однако рука Божья на мне, я это уже знаю, чувствую с несомненностью, достоверностью. Много должен я пережить и передумать и проверить, прежде чем для меня проявится, чего требует от меня Господь, какого sacrificio не только dell'intelletto, но и della corde²⁴ потребует. Но с этой ночи передо мной вплотную стала новая страшная задача: изжить до глубины боль разделения Церкви и ответить себе решительно на этот безответный, трагический вопрос. Вот для чего, думалось мне, сохранили мне жизнь столь чудесно, и она мне уже не принадлежит, она в руках Божиих. И я знаю, перед какой стеною в обе стороны я здесь стою. Порою мне становится ясно, зачем и почему я здесь остался в этом уединении, вдали от всех близких, даже от Друга: мне нужно *одному* пережить и прислушаться к себе, к потоку событий во мне и вне меня, к голосу Божию.

Во всяком случае, страшная, историческая, роковая это была для меня ночь, и была на мне рука Господня...

31 декабря 1921 г. Отходит в вечность сей страшный и благо-словенный год, год испытаний и чудес. Велики были испытания — от непрестанной угрозы жизни и свободе, от нужды, от человеческой жестокости и грубости, от надвинувшегося голода, и казалось, что не пережить этого года, не дожить до нового! Малодушный страх мертвил и леденил сердце. И — вместе с тем — в этом году мы пережили чудо — возвращение Федички, который сделался нашей опорой и кормильцем, и эта радость вознаградила за все, все испытания. И теперь живем все вместе, все живы, хотя и потрепаны, под кровом Ялтинского собора, куда я тоже попал по воле Божией, вопреки всем ожиданиям. И когда видишь и чувствуешь явственно, как вела и ведет рука Божия, спокойно и доверчиво вверяешь ей себя до конца. Да принесет наступающий год желанную перемену в судьбе Муночки, которая находится в хронички-тяжелом состоянии, каком-то тупике. Для России этот год был год умирания, бедствий, голода, рабства. Да будет это умирание перед воскресением. Очевидно, власть красных дикарей себя изжила, и начинается европейский раздел России, быстрая ее экономическая европеизация. Еще год тому назад я бы с ужасом и омерзением смотрел на это дело русского и европейского <?> начала, но теперь я смотрю в будущее бодро и с доверием и готов почти приветствовать эту европеизацию, видя в ней волю Божию. Нам нельзя жить в отрыве и гордом самоутверждении от мира. Чтобы стать самим собой, надо стать христианской Европой, и тогда Россия приблизится к своему призванию. У нас все впереди... Господи, благослови новое лето!

1 января 1922 г. Благослови, Господи, новое лето! Вчера мы встречали Новый год всей нашей семьей, в мире и радости. Со мною в комнате ночевал Сережа, я с радостью слышал его дыхание и чувствовал его присутствие. Самому мне, конечно, не спалось, как всегда перед ранней литургией, но и мысли мои неслись вихрем и... в Рим, и о Риме... Я думал о том, что мне надлежит обратиться к патриарху с мотивированной запиской о необходимости общества для взаимного ознакомления и сближения Церквей. Надо *поставить* вопрос и церковно и *вне*-церковно. До сих пор Господь явно помогал мне и содействовал. Верю, что если есть воля Божия и если я не в прелести, но действительно чувствую на себе руку Божию, то сами обстоятель-

ства укажут путь. А пока — благодарение Богу, что я в Ялте, один, со своими мыслями, такими для меня самого новыми, поразительными, неожиданными. Голова трещит от вопросов, п<отому> ч<то> надо пересмотреть все свои верования и земные упования. Помогите мне, Господи, вразуми! Во всяком случае новый год сей встречаю весь охваченный новыми мыслями, новыми предчувствиями и задачами. Слава Господу.

14 февраля 1922 г. Понедельник 1-й Седм<ицы> Вел<икого> поста. Господи, благослови святую Четыредесятницу! Вот по милости Божией встретили и Великий пост, дожили здоровы и невредимы. Уже четвертую 4-десятницу я встречаю в сане иерея: первая и незабвенная в Олеизе в 1919 г., — при вторых б<ольшеве>ках, следующая, тоже незабвенная, в Симферополе, неразрывно связанная с воспоминаниями о Вере Георг<иевне>, ее вере и преданности, и о Еленинской церкви (Страстная седмица); тогда был Муночкин тиф, Федино отправление на фронт. Третья четыредесятница в Олеизе, — с Алешей, в пору тяжелой угрожаемости, она закончилась благодатной Страстной седмицей в Гаспр<ийской> церкви. И вот 4-ю встречаю здесь «викарием» соборного о. Петра, в Ялт<инском> Нов<ом> Соборе, охваченный трудными и ответственными переживаниями. Здесь я только колесо в *не* мною поставленном и руководимом богослужении, смирил меня Господь, но вместе и благословил, да будет Его воля! Хотелось бы, конечно, на это время больше, чем когда-либо, *своего* угла и *своей* общины, чего здесь нет, но, очевидно, для этого не время, и сейчас я должен обезличиться, чтобы в тишине совершить путь свой. Основное мое чувство жизни личное — это бессилие и поражение перед голодом. Как тяжело и постыдно чувствовать себя жадным и трусливым себялюбцем, прячущимся и запирающимся в свой угол с своим куском для себя и семьи, под стук и стоны голодных. Я чувствую себя недостойным даже говорить о Боге и вере, а в то же время должен учить других, литургисать, и сам окаянный причащаюсь плоти и крови Господней. На днях я был со Св. Дарами у умирающей от голода старухи, которая лежит одна в холодной сырой комнате. Я чувствовал себя таким уничтоженным и духовно бессильным, и она стоит передо мною, как на Страшном суде. Сейчас самое существование становится грехом. Ведь я должен был бы отдать ей свою еду, взять ее к себе, а это значит, пожертвовать всеми привычными условиями и удобствами своего существования. Господь заставляет делать решительный выбор: или Он, или себялюбивое самосохранение,

и во мне побеждает последнее, и это во всем, на каждом шагу: смеется сатана с своим экономическим материализмом, который оказывается *прав* относительно меня. Мы проходим через огонь и грязь испытания и видим себя в ужасном свете, духовными трупами ранее вечной смерти. Я знаю, сколько я могу привести смягчающих обстоятельств: семья, — главный заработок вовсе не мой, а Федин, которым я не имею и права распоряжаться. А все-таки сознаю, что нет во мне живой любви к Христу, Которого я дерзаю называться служителем, а на самом деле являюсь хулителем и распинателем. И какие страшные, жуткие положения теперь раскрывает исповедь, — она меня страшит теперь, ибо знаю, что предстоит мне сознавать снова и снова свое бессилие, — маловерие, себялюбие. Теперь — «святое время», как сказала мне одна прихожанка, но для святых, а не для таких черствых и грубых маловеров. Теперь надо растаять, отвергнуться себя, или же влачить такое постыдное существование. Господи, Ты видишь мое сердце, помоги мне, <нрзб.> его и помилуй людей Твоих!

26 февраля 1922 г., день рождения Нели, Ялта.

Благодарение Господу, при всех трудностях жизни Бог дал нам в мире и радости встретить день Неличкиного рождения. Мы все здоровы и благополучны, миновала зима, стоит весенний день, и на душе надежда. Вчера проводили Муночку с Д. Н. в Москву, дай Бог ей удачи и радости. Было много трудностей и волнений с ее отъездом, но все благополучно миновало. Завтра годовщина возвращения к нам Федички. Как милостив к нам Господь! Как чудесно хранил он нас в эту годину. Благослови и сохрани моих милых!

27 февраля 1922. Годовщина возвращения Феде, тот чудесный, благодатный, радостный день. Господи, слава Тебе! Сегодня (2 воскр<есень>) совершил литургию и молились дома, и о всех нас и об отсутствующей Муночке.

11 марта 1922 г. Иногда зябнет сердце и цепенеет мысль. Боже, чего приходится быть современником и пассивным, себялюбивым созерцателем!

Ведь теперь просто оставаться живым, т. е. ежедневно пить и есть, среди этих умирающих от голода людей есть грех и преступление, и таковым чувствую себя. Исповедь теперь для меня мучение, п<отому> ч<то> это стон, обличение, вопль. И, самое страшное, лишь теперь узнаешь, как мало веры во мне, *какой я*

христианин. Сознание, что недостаточно войти в храм, приблизиться к престолу, а между тем говорю мертвыми устами слова святой молитвы, совершаю таинства... Если бы у меня была та вера, о которой говорит Евангелие, я бы совершал чудеса, я помогал бы этим несчастным, насыщал бы их пятью хлебами²⁵. Но для этого надо отречься от себя, надо отдать эти пять хлебов, последние, от себя и своей семьи, — первому нуждающемуся — и лишь тогда, после безумия в мирском смысле, совершить чудо. Все эти страдания и вопли, от которых мучается и изнемогает сердце, есть моление *о чуде*. А этого моления и этой веры нет, а потому нет и чуда. У меня темнеет на душе. Наступает для меня какой-то страшный и жуткий кризис, — со стороны, которой я не ждал, хотя и должен был ждать. Я мечтал о *сладо*сти священства, а пью горькую, отравленную маловерием чашу страдания и бессилия. То, что ежедневно происходит вокруг, непоправимо и непросто. Господи, научи меня оправданиям Твоим. И как больно, как обидно за человека! Уже не за Россию, не за русского — перед голодом все равны этим странным равенством, но за человека. Как это поэтично в стихах: И куда печальным оком / Вкруг Церера ни глядит, / В унижении глубоко / Человека всюду зрит²⁶, — но как страшно и отвратительно это унижение: вши, нечистота, вонь, живые и мертвые трупы... Этого нельзя, не должно забыть. Это мертвит душу навсегда (если не легкомыслие), это подрезывает навсегда крылья. Если мы и выйдем отсюда живыми телом, то мертвыми душой. А между тем я собирался еще жить, мне казалось, что Господь зовет меня к новому делу, служению. Но в душу входит смерть... Вероятно, смерть всегда такова. Но когда вся жизнь становится смертью, умиранием, тогда и такая смерть есть отравка жизни. Смерти нужно покориться, нужно ее принять с верою и не растеряться пред смертью, когда она покажет свое лицо, но это умирание страшнее и отвратительнее смерти. Что я нажил за эти недели и месяцы, которые несутся с какой-то страшной пустотой, а вместе значительностью, — не то новое рождение, не то агонию, — это сознание своей смертности и принятие смерти. Это совсем не в связи с только что записанными отравленными чувствами, — нет, это как новое обретение, освобождение, рост души. Раньше я *не верил* в свою смерть, *п<отому> ч<то> верил* в событие, преобразование, которое лично для меня упразднит смерть (хотя бы даже оно и явилось вместе с тем физической смертью). Теперь я понял, жизненно, всем своим существом понял, что это — мечтательность и иллюзия, *детское* неведение. И вообще наша игра в эсхатологию слиш-

ком часто бывает особой разновидностью интеллигентщины, интеллигентской мечтательности и, вместе, испуга, бегства от истории, тем более, что, как и всякая мечтательность, она ни к чему не обязывает, кроме пассивного ожидания. Образовывалась густая мгла, которая то темнела, то розовела. И для меня образовалось такое розовое облако — мечты о преображении, которое и заставило меня поверить, что я не вкушу смерти, а буду как бы взят в сретение Господа на воздухе. И теперь я *прозрел душой*, что это лишь мечтательность. И потому для меня впервые реально выступила смерть, моя личная смерть. И думаю о ней с покоем и радостью, как о свидании с милыми ушедшими, как об общем человеческом уделе, как воле Божией, которая исполнится, когда наступит срок. И какая-то простота, покой и ясность в душе от этой мысли, что сначала испытывал это как разочарование, — остатки прежней *mania grandiosa*²⁷, — теперь вижу в себе человека, что-то делавшего, как-то жившего, но не очень крупного и жизненное дело коего перервется с его жизнью. Я даже не исключаю возможности и «событий» и даже преобразования и неведения смерти, если Господу это угодно и нужно, но это тогда должно наступить как новое, еще не бывшее. То, что я доселе принимал уже за это, есть ребячество, а вместе и предчувствие. Разумеется, я вовсе не отрицаю и не уменьшаю значения эсхатологии, но не хочу ей баловаться, заслоняться от серьезного и честного голоса жизни. И эта простота дает мне силу жизни, она дает мне возможность нести спокойно крест своего безвестного, приходского провинциального существования без суетливости, стремления куда-то. Страшные испытания, среди которых я живу, срывают маски и разрушают иллюзии. Они заставляют смотреть на смерть как *страшный* час расплаты и бессилия. Но это новое чувство жизни и смерти не от них, оно просто следствие духовного возраста и роста, далекое «ныне отпускаеши». И как легко, как хорошо чувствовать себя и в этом отношении простым человеком, как все, и со всеми, и радостно думать, что ждет новое рождение, новое свидание, — с Ивашечкой, папой, мамой, братьями, ушедшими.

10/23 марта 1922 г. Боже мой Господи! Что мне делать? Научи, укрепи! Вернулся с исповеди: обычная теперь история — голод, безработица, мысли о самоубийстве. И чувствуешь себя преступником, недостойным войти в Храм, приблизиться к Святому Престолу. Разве мы христиане? Разве мы верим? Вот испытание нашей веры... правы марксисты, которые глумятся

над «идеологией», столь жалкой, столь бессильной. Каким-то ледяным кошмаром стало теперь для меня мое служение. Я очень хорошо вижу, как легко упиваться сладостью богослужения, отдаваться маниловской мечтательности относит<ельно> своего «преображения», а вот поверил: умирающая от голода старуха, которую именем Христовым напутствуешь богохульствуя, умирающий старик, голодающий и готовящийся к голодной смерти. На исповедь пришли, эти готовящиеся к самоубийству женщины, и жалкий, бессильный лепет мой, с полным желанием поскорее отделаться, отвязаться, да в сущности, с желанием, чтобы они поскорее умерли, «успокоились». О, какое страшное в себе разочарование, какая беспощадная критика всех ребяческих самоуверенных иллюзий... Да и не имеешь ответа, п<отому> ч<то> и сам не знаешь, зачем, за что и почему умирают все эти люди. Но знаешь *свою* собственную низость, свое себялюбие. С жестокой иронической правдой ставится теперь вопрос: если хочешь *быть* христианином, а не трепать языком, отдай все свое. Тогда... будет чудо, если поверишь, двинешь гору, а до этого... молчи. О страшное испытание, страшный суд Божий и гнев Божий, суд до смерти и полное, полное обвинение! Я *боюсь* теперь проповеди, п<отому> ч<то> она меня обличает: как я могу говорить о помощи ближнему, когда весь состою из себялюбия, когда я боюсь каждого стука в дверь, каждого нищего! Боже мой, вскую меня оставил!

11 марта. Подготовил было возможность справиться о выезде для моей Матрены, а помочь ей не удалось, не благословил Господь, такая, такая тяжесть на душе. Видел ее только у Св. Чаши, когда причащал, — недостойный себялюбиец, а потом уже исчезла, вероятно, бесследно, п<отому> ч<то> не знаю ни ее фамилии, ни лица даже не узнаю.

27 марта. Вербное воскресенье.

Великий праздник, солнце сияет, я сегодня служил, мы благополучны, а на душе чугунная, беспросветная тяжесть. Только что вернулся из земской больницы, где больные прямо-таки умирают с голода, их не кормят, и таким безбожным преступником чувствуешь себя перед этими страдальцами ты, сытый, жирный поп, и так немеет на устах слово утешения. Поднимается волна негодования на палачей России, но она сменяется болью за свое себялюбие. Все эти умирающие уста, просящие о помощи безучастного «батюшку», они будут вопить и свидетельствовать на Страшном суде против меня. Рассуждая умом,

понимаешь, что при теперешних размерах бедствия никто не может пособить (только «американцы»), а сердце мучит и мучится... Господи, смилуйся над людьми своими, ведь этого ужаса и преступления еще не видела земля.

31 марта. Чистый четверг, — святой и благодатный день, много причастников. Я так всегда любил этот день и чувствовал эту литургию... На душу сходит мир, а еще вчера я был в смятении. Получились вести о Муночке: хотя и хранит ее Господь, но трудны и не вполне удачны ее первые шаги в Москве, иначе не могло и быть. Надо молитвенно поддерживать нашу бедную девочку! Господь милует нас: к празднику мы завалены и деньгами, и пайками. Если бы была с нами Муночка! А голод вокруг прежний, и тот же самообман и забвение спасает от них нашу сытость: дать какие-то крохи чужими руками, да притупится острота первого впечатления, вот и успокоишься... Лукавый и себялюбивый раб! Эти дни беспокоился по поводу того, попаду ли в Москву, но теперь предал себя в волю Божию, да и есть как будто надежда на ресурсы. По-видимому, собирается новая гроза на церковном небе, надо готовиться к шквалу...

А собор наш — все-таки сказка, и сказка, хотя и трагическая, о жизни всех этих душ, которые раскрываются на исповеди: какие судьбы, какие чистые и прекрасные есть души и теперь, в этой советской содомии. Это поистине чудесно. Всякая исповедь в Вел<иком> посту, и на Страстной неделе в особенности, меня подымает и окрыляет, дает ощущение бесконечной духовной шири и глубины.

1 апреля 1922 г. Ялта. Скоро уже месяц, как мы проводили Муночку в Москву, и нет от нее известий. Я мало и плохо моллился о ней и молитвенно помогал ей и чувствую себя перед нею виноватым. И это же чувство у Нели, хотя она, конечно, гораздо больше бдит над ней. А над ней нужно бдение. Она такой ребенок, так незащитна перед всякими смущениями, так робка и пуглива. Сохрани ее, Господи, от зла. Я не боюсь, чтобы зло могло иметь доступ к самому ее сердцу, — этого нет, она чиста, но изломать ее, измучить, запугать оно может, — и она без того запугана. Верю Господу и Матери Божией, что ее жизнь направится как надо. Господи, сохрани ее! В чем-то ей сейчас трудно, слышит сердце о ней... Сегодня в ночь умерла Л. А. Кандинская, и опять упреки совести в черствости сердца, в себялюбии. А она незлобива, как младенец, Господь призвал ее скоро. Я ее причащал. По-прежнему голодные требы. Но и

становлюсь бесчувственным, — быстро забываю и успокаиваюсь, чужая скорбь, — а ее море на исповеди, на требах, всюду, — как-то проходит мимо. Или это закон самосохранения и прямая помощь Божия, п<отому> ч<то> иначе нельзя было бы и жить?..

Федя получает все больше, наша сытость увеличивается, но совесть укоряет, какой неоплатной ценой покупается эта сытость: надо Феде скорее высвободиться от этой неволи. А между тем, пока о выезде в Москву невозможно и думать, — не на что. Но верю, если надо и когда будет надо, явятся средства... Уже Великий пост на исходе, приближается Светлый праздник.

3 апреля 1922 г. Святая Пасха.

Пролетели знойные и благодатные дни Страстной седмицы, и Господь привел встретить Пасху. Как велика к нам милость Божия! Разве могли мы думать прошлым летом, что доживем до Пасхи и встретим ее в таком благополучии, что даже совестно. Но Муночка не с нами, от нее нет известий, это единственное, что нас омрачает, конечно, в нашем семейном положении. Служба, как и все вообще эти службы, была красивая, парадная, величественная, но холодноватая. Конечно, это от того, что это не мой храм и не мой приход, хотя они мне стали и дороги. Но все чудесно в жизни, и надо чувствовать совершающееся чудо. Христос воскрес из мертвых!

24 апреля. Дни идут. Весна уже. Муночка зовет в Москву. Она устроилась и хлопочет о нас, милая девочка. За нее непрерывно болит сердце, — ее личная жизнь так и не устраивается, а в этом все дело.

Приходится серьезно думать о Москве, не можем же мы ее там одну оставить, да и Феде нужно, хотя страшно мне за Нелю и Сережу. Жду, что Господь укажет путь, и заранее покоряюсь. Лично за себя страшусь и смущаюсь, ибо знаю, что иду не на радость, а на скорбь, на последние, быть может, испытания. Меня ждут там в качестве «столпа православия», а этот столп уже подгнил: в глубине своего сознания я уже потерял себя и не знаю, кем мне считать себя: просто ли католиком, еще не решившимся провозгласить свою новую веру, или же, напротив, *новым*, восточным католиком. Ясно для меня одно: в основном прав Рим и не прав восток, — и о Папе, и о Св. Духе. Но что из этого практически для восточной Церкви для меня следует, на это я не имею ответа и не умею его найти. Я чувствую, что меня ведет рука Божия, и я должен отдаться ей, как трость

в руках книжника-скорописца. Но те сердечные раны, жертвы и разрывы, которые меня ждут, меня ужасают, те разочарования и слезы, которые я причиной любимым и дорогим, начиная с патриарха и еп<ископа> Феодора, Мих<аила> Ал<ександровича>²⁸ и др., меня угнетают. Я думаю о Москве как какой-то глухой стене или Голгофе. Я так слаб и бесхарактерен для дела, на которое ныне посылает меня Господь, и всю жизнь свою прожил я в бесхарактерности, вся она ушла на путь, на *от—к*. И вот я радовался обретенной тихой пристани, правде своего священства, выше и незыблемей коего ничего не знаю, и этот ураган, на меня налетевший, меня ломает и гнет... У меня началась страшная двойная бухгалтерия: перед Богом я чувствую свою совесть спокойной, но я знаю, что если я выскажу вслух свои теперешние мысли, произойдет страшный скандал и, б<ыть> м<ожет>, церковные репрессии, а я должен — *рано или поздно* — это сделать. Теперь еще не могу, еще рано, да и я не в состоянии сам себе ответить на главные практические вопросы. Пока я должен молчать и вынашивать, вверяя свои мысли своей тетради, но в Москве это станет уже невозможно, там и не смогу, и не нужно молчать. Как привлекательна теперь и значительна, — издалека, — кажется жизнь и деятельность о. В. Абрикосова²⁹: как прямая свеча горит он пред Богом и делает *одно* великое дело всю свою жизнь, служит *одной* великой идее всеми силами души, и уйдет к Богу, неся плод полного рабочего дня. Может быть я разочаруюсь ближе, но теперь мне эта однотонность, это одно звучание туго натянутой струны, необыкновенная серьезность, строгость и самоотверженность жизни кажется великим подвигом и величайшим даром жизни. Не такова моя неудавшаяся, в лености прожитая жизнь. Я знаю, что легко со стороны говорить обо мне, что все время я суетился и менял свои вкусы, то же и теперь, не сидится без пикантных ощущений. Но видит Бог, что это неправда. Свое священство я чувствую как дар неба и абсолютный, и незыблемость священства в православии я тоже абсолютно знаю. Но единственная моя теперь мысль — церковность, и я вижу, совершенно ясно вижу, что православие не абсолютно, оно должно осознать себя и вырасти во вселенскость. Благодарю Господа, за эти годы и месяцы в Ялте я освободился от стольких иллюзий и о себе, и о России, и о мировых свершениях. Я все время постигаю, в какой степени я, да и все мы, с Достоевским и др., охвачены интеллигентской *мечтательностью*, за которую наказуемся и от которой теперь отрезвляемся. Я действительно церковно смирился и *все*, о чем пророчествовал ранее, поставил под вопрос,

отвечаю *не знаю* или просто не отвечаю, — о русском народе, его задачах, призвании, о своих собственных заданиях и пр. Я стал благодаря опыту священства неизмеримо церковнее, т. е. *реалистичнее* в своей религии и не ободряюсь, даже прямо скучаю иллюзиями. Я не чувствую себя в этом старее, но просто зрелее, старше, опытнее. Меня почти перестала интересовать литература в религии. И при этом на мои плечи, слабые и хилые, свалилась такая непосильная и невыносимая ноша, как сделать делом остатков дней моих вопрос о разделении Церквей, — вопрос безнадежный по человеческому суждению. Ведь тут мне нужно только решиться на гибель, б<ыть> м<ожет>, бесплодную. Когда я думаю об этом, когда я думаю о семье, о милых, которым еще предстоит пережить, со мною, шквал, — б<ыть> м<ожет>, они его и не поймут, и не примут, — меня охватывает малодушный страх, мне хочется инстинктивно еще остаться в Ялте, *скрываться* в Ялте, никем не знаемым. И я совершенно не в силах объять умом передо мною предстоящего. Пусть Господь укажет путь и свои веления. Я раб Его. Я себе цену теперь узнал, о себе я ничего не воображаю, знаю свое бессилие и свое неудачничество. Не *горделивые* мысли — видит Бог — владеют мною теперь. Но мысли эти все-таки — мною владеют. И я хорошо понимаю, что от меня, «Сергея Булгакова», ничего не останется при этом, от этого недоразумения. Я ищу, думается мне, *не своего*. Господи, открой, укажи, вразуми раба Твоего!

6/19 мая. Вчера я прочел моск<овскую> газету с отчетом о процессе духовенства и о вызове святейшего Патриарха на суд, о поношениях и глумлениях над ним³⁰. Боже, до чего тяжело! Как будто присутствуешь при поношениях и истязаниях Христа и апостолов. И ведь этот насквозь чистый, кристальный человек, святой, он — мой духовный отец, — он благословил меня на священство, он — мой епарх<иальный> архиерей, его расположением, доверием и лаской я всегда был взыскан, а теперь издалека, бессильный, молча гляжу на узы его и на поношение его, далекий, бессильный и ненужный. Верю, Господу неужгодно было удостоить меня жребия с ним, и боюсь я, страшусь в тайниках души и не могу преодолеть этого постыдного чувства. Господи, огради (?) меня силой Твоею, дай мне возлюбить Тебя больше этой жизни. Ведь я же хорошо понимаю, что только такой конец и может быть единственно достойным концом жизни, по крайней мере, в наши дни, и Господь щадит меня, видя мою незрелость и ожидая от меня покаяния и мужества. Если и

суждено мне иметь свой собственный жребий (правду сказать, меня не вдохновляет положение жертвы за изъятие ценностей!), то ведь всякое подлинное дело Христово в мире м<ожет> б<ыть> куплено страданием и крестом. И если мне суждено еще чем-нибудь проявить себя, я должен быть готов на крест. Участь Патриарха — заточение и ссылка — предрешена, процесс — инсценирован, все разыгрывается по нотам. Как видно из лживых отчетов сына лжи, Патриарх держится со святительским достоинством и даже этим богоотступникам импонирует, хотя позиция его — увы! — шатка и недодумана. Остальные же, как я и боялся, путаются, спасаются, вообще являют смятение, конечно, не мне окаянному их судить, я знаю, что мог малодушествовать больше всех, особенно благодаря бессоннице, но картина экзамена исторической Церкви не очень утешительная. Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что миссия большевиков, даже и в их антицерковных действиях, — пробудить Русскую церковь, разбить ее историческую скорлупу и ограниченность, но пока — увы! — как чувствуется скорлупа. Патриарх — избранник Божий, как мученик, но вместе с тем вполне трагическая фигура, на нем отяготел рок нашего греко-российского православия, коего он, мнится мне, есть первый и последний в новейший период истории, искупительная жертва «грекороссийства». Быть поставленным у церковного кормила в самый страшный час русской истории (ибо ведь это на самом деле так, п<отому> ч<то> происходит небывалый никогда кризис России), всеми нами, «соборянами», вольно или невольно брошенный, без власти, но с ответственностью и «подотчетностью Собору», поставленный лицом к лицу с самыми свирепыми и бессовестными врагами веры, пред лицом закономерного развала церковного единства, он, жертвенный и чистый, обречен искупать чужие грехи, по образу Христову. Безнадежная и великая, страшная и прекрасная судьба. Господи, укрепи его в крестной муке его!

11 мая 1922 г. Ялта. День свв. Кирилла и Мефодия.

Сегодня Сереже исполнилось 11 лет, возблагодарим Господа! Новорожденный капризничает, как 5-летний, не умели мы его воспитать, да и слабый он и хилый. Трудно ему будет жить в нынешние времена, но Господь его да сохранит и умудрит! Своим человеческим разумом ничего не обнимешь теперь. Из Москвы самые ужасные вести, и самое ужасное это — осатанение чугунных сердец богоотступников и железная сила жестокости и неумолимости в связи с неимоверным глумлением и нагло-

стью семитского гонения *по качеству* хуже и злее диоклетианских³¹, п<отому> ч<то> тогда не было царства семитов, не было прессы, наглейшими путями <?> изливающимися ложь и клевету безответно, не было отступничества. Но самое тяжелое во всем этом — унижительное чувство своей растерянности, маловерия, бессилия. Надо готовиться к Голгофе, а человеческое чувство все время пятится... «Се ныне выходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет в руки человеческие...»³², а человеческая слабость говорила: да не будет. И в жизни каждого человека наступает момент, когда он должен сказать *да* этому часу, жить, *к нему* приготавливаясь, а нам хочется жить, от него отмахиваясь. Господи, научи, укрепи, дай сказать от всего сердца: готово сердце мое, Боже мой!..

Сегодня день первоучителей славянства Кирилла и Мефодия³³, из которых первый и скончался и почивает в Риме, а второй получил от Папы свое епископство. Они, греки, проповедники среди славян и верные сыны Рима, являют собой живой символ того, что надлежит совершить, к чему зовет нас исторический час. И вот в этот, лично знаменательный и торжественный для мира день в алтаре, за литургией, как звезда загорелась в душе моей новая мысль, которая является как бы ответом на все мои искания этих дней: соединение восточной и западной Церкви есть не идея только и не задание для будущего, это мистически *уже совершившийся факт*, на Флорентийском соборе в 1439 г.³⁴, который имеет все внешние признаки Вселенского собора и не имеет ничего опорочивающего. В Византии уния была совершившимся фактом и держалась, пока обычная греческая лживость не изменила с падением Византии. За ними отреклись и другие восточные патриаршества, без *всякого* основания объявив Собор разбойническим, хотя присутствовали и подписали законные их представители. От России же был митрополит Исидор³⁵ с епископами, которые потом возвратившись не встретили никакого противодействия духовенства («воздержались») и народа, и моление о Папе торжественно было провозглашено в Успенском соборе. А через три дня митрополит был арестован молодым (26 л<ет>) царем Василием³⁶, епископы «проснулись», и все пошло прахом... Но какую же церковную каноническую силу это все имеет? Теперь мне ясен мой путь: надо открыто стать на платформу Вселенского Флорент<ийского> собора, как уже совершившегося факта, под сень свв. Кирилла и Мефодия. Я могу и должен (разумеется, пока тайно, из церковной дисциплины) возносить литургийные моления о Папе с завтрашнего дня Воскресения

Христова, а главное — передо мной внезапно прояснился мой путь церковного действия. Через некоторое время, вероятно, еще не скоро, я должен буду обратиться с кличем сплотить на почве постановлений Флорент<ийского> собора, законная сила которого *никем* не была отменена, хотя и затемнена расколом... Господи, помоги и благослови! Свв. Кирилл и Мефодий, молитесь Бога обо мне, дабы умудрил Он сердце мое на сие служение! В нашей литературе Собор этот совершенно оболган и извращен, надо все прояснять сызнова.

22 мая 1922 г. Вчера праздновали именины Нели, хотя и в многолюдстве, но в мире и тихой радости, только Муночки нет с нами. Сегодня же или завтра я, вместе с великими и таинственными праздниками Троицы и Св. Духа, праздную самые великие, блаженные и священные дни своей жизни, — своего посвящения сначала в диаконы и затем в святейший сан. С любовью и благодарностью вспоминаю каждую подробность, — людей от святейшего, ныне мучимого патриарха и еп. Феодора и кончая всеми, тогда бывшими и явившими мне любовь свою. Какие блаженные, незабываемые дни! И ныне, светом Пятидесятницы обвеянные, стоят они в памяти моей. Четыре года священства, слава Богу! Первый год — на приходе в Кореизе во время второго большевизма, мой брачный час; второй год — в Симферополе, в незабываемой Еленинской церкви; третий год — Троица в Кореизе, а Духов день — в Гаспре, торжественная церковная служба (которая, однако, сменилась новой угрозой, дамокловым мечом) и третий год — здесь, в Ялте. Чувствую себя перед великими и моей немощи непосильными трудностями и задачами в Церкви, но уповаю на благодать Божию и отдаю себя в орудие воли Божией. Вчера за всеобщей — зовах Пятидесятницы — я почти против воли *впервые* развил круг своих теперешних церковных идей и чувствовал себя *не свое* говорящим, но от Духа Божия. Впрочем, сам-то я не мог говорить иначе и не сказать того, что я сказал, но и сам знал, что говорю перед глухими и впустую — это и подтвердила даже Нела, которая, как я заключил из ее слов, совершенно не уразумела, *что* я говорю и *куда* клонится смысл моей проповеди, — вообще умная или неумная ненужность или просто странность, как и многое у меня. Мне нужно вооружиться терпением и любовью. А из Москвы все нелепее и удручающее идут вести, все страннее и жутче. И на фоне этого внутреннего развала вопрос о природе Церкви становится все острее. За эти четыре года, благодаря Бога, я стал гораздо церковнее и право-

славнее, хотя и (а м<ожет> б<ыть>, и благодаря тому) элементарнее в своих мыслях и чувствах значительно освободился от привкуса теософизма³⁷ и как будто преодолел сенсуализм в религии³⁸, которым был отравлен. Разумеется, ревнителям покажется, что вместо этого я впал в худшее, — в католицизм, ибо — продолжаю речь *adv. diaboli*³⁹, — я не умею жить без новых увлечений, и лучшее средство излечить навсегда от католицизма — это его изведать практически. Однако я и не думаю, чтобы моему дряблему, извневшемуся существу доступно было что-то *вместить*, — на это я и сам не рассчитываю. Но ведь «дары различны и служения различны», и если Господь судил мне, ценою толчков, жертв и разочарований, искать истину, я молю Его, чтобы и это совершалось не без Духа Божия. Завтра в сей великий день Его праздника совершаю раннюю литургию в нижнем храме великомуч<еника> Артемия⁴⁰.

23 мая. День Св. Духа. Вернулся от литургии, — какая была светлая, радостная и благодатная служба! Как живо я чувствовал на себе милость Божию и любовь Божию! И особенно живо потому, что чувствовал себя помилованным. Первоначально казалось, что я на этот день вовсе останусь без службы, и я принял это как эпитимью, наказание Божие за пастырские грехи мои этого года, и я этого, конечно, вполне заслужил, об этом говорит мне моя совесть. Но вразумил меня Господь, явил и милость. Молился за всех милых и дорогих, кто был тогда около меня в Москве, начиная с еп<ископа> Феодора и святейшего патриарха, молился (тайно) и за первосвящ<енника> римского.

5/18 июня 1922 г. Эти дни прожили снова в тревоге и подавленности. Из Москвы вести тяжелые. Пишут, что мне туда ехать нельзя, — казни, гонения на патриарха и церковная смута под давлением советского синода⁴¹. Затем предстоящая мобилизация и тревога за Федю. Наконец, тревожное положение в С<имферопол>е и здесь. И в результате — полная неопределенность, неизвестность... Порою это тяжело. Кажется, что я предательствую и шкурничаю и совершенно обезличиваюсь в столь грозное и ответственное время для Церкви, далее изнемогаю от бессилия и страха при мысли о том, что же будет, когда я скажу, наконец, громко, что я думаю теперь. От меня отвернутся мои ближайшие друзья, мой слабый голос не будет иметь никакого значения, и я останусь один. Вообще все мрачное и только мрачное теснит душу, вместе с мыслью и о возможности скорой гибели и положении семьи без нее. Конечно, этот дух уныния

от лукавого. И когда вспоминаешь все чудеса своей жизни и неисчерпаемость милости Божией ко мне, то верится и здесь в чудо. Ведь не на свои же силы я надеюсь — видит Бог, что *теперь* этого нет, и если мое дело есть дело Божие, то Господь его благословит и устроит, а если нет, да сойдет оно поскорее на нет. Но рассуждая объективно, я все-таки продолжаю себя считать правым и все утверждаюсь. Часто я думаю последние дни об о. Павле и с болью и страхом говорю себе, что, конечно, и он будет *не* со мною, хотя в то же время я чувствую и понимаю, что он *должен* быть со мною. Я так ничтожен и бессилен перед ним, так перед ним склоняюсь и пасую, что я, конечно, не мог бы вблизи его проходить *свой* путь. Я от него получал бы бесконечно много идей и импульсов, как это и было, и из всех сил старался бы, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, — подражать ему. Теперь, на расстоянии места и времени, я, кажется, больше различаю его и себя. Он, конечно, единственный, он — чудо человеческого ума и гения, — он это знает сам о себе, и это, освобождая его от всего мелочного и суетного, дает ему силу и сознание своей сверхчеловеческой свободы. Он есть на самом деле *Uebermensch*⁴², но вместе с тем и христианин, — святой. Но сила его не в его святости, не в подчинении низших сил высшим, — иначе — не мог бы быть *такого* калибра духовного человек, но в его железном уме и жажде познания — беспредельной... О. Павел слишком *сам*, иногда он изнемогает от этого богатства своего, которое не становится для него самостью, но мешает его детской непосредственности. Он ни в чем не наивен и не детск, у него все опосредствовано, прошло через сознание и волю, и в этом смысле сделано, стилизовано. Странно, но он для меня перестал быть *церковным* авторитетом, хотя я по-прежнему, не меньше прежнего знаю его единственность, он для меня не непогрешим в вопросах церковного сознания, как я в сущности его считал. И «столп и утверждение истины», как я теперь ясно вижу, *сделан* и, действительно, ведь прав Бердяев, не злобным и мелочным, завистливым тоном, но по существу — есть стилизация православия⁴³. Я помню, о. Павел когда-то мне писал, что он имеет *свою* идею православия и, действительно, в этой книге есть *его* собственное православие, *его* мысли о нем. И *его* православие — с такой *безнадежностью* в смысле неразтворенности и, кажется, неразтворимости оккультизма, неоплатонизма, гностицизма⁴⁴, не есть историческое православие, не есть и церковное православие. Его личная, человеческая сила, уверенность сознающей себя силы отнюдь не есть еще церковная сила, как мне наивно все

время казалось. О. Павел — загадка из загадок и для себя он загадка, м<ожет> б<ыть>, это самый интересный, значительный из людей, когда-либо бывших, п<отому> ч<то> в нем пересекается лабиринт ходов, его совет и суждение единственны и все-таки это не голос Церкви, это — роковым образом свое, мудрость рядом с чудачеством, свой *произвол*. Я, разумеется, верю в его дружбу, он меня не оставит, ибо он верен, он так благороден, что не м<ожет> б<ыть> *не* верным, но он любит меня своим произволом, причем, конечно, не может не третировать, я это и вижу. Ну разве же я ему ровня, как мой слабый Сережка не товарищ его умного Васи, но который имеет право на существование, и каждый сам по себе. О. Павел, написавший гениально о дружбе и с распаленной ее жаждой, в сущности всегда *один*, как Эльбрус с снеговой вершиной, никого не видит около себя, наравне с собою. И его привязанности, «друзья» (характерно для роковой для него «стилизации», что ведь и «письма к другу» тоже литературная фикция, ибо друга-то не существует, и *правы* те наивные, которые все разгадывали и спрашивали, кто же друг, п<отому> ч<то> для простого человеческого чувства здесь стилизация недопустима и невозможна, а между тем она была) суть избрание иррационального произвола, почему так непонятны и удивляли: «Васенька» Гиацинтов!⁴⁵ Я никогда не занимал такого места, скорее я *своим* робким отношением вынудил или вымолил ответную дружбу, всегда великодушную и щедрую, но и отнюдь не страстную и не единственную. Да, все волевые акты избрания, озолачивания собою, своими лучами, зеркала я: и еп. Антоний, и Анна Мих<айловна>, и старец Исидор⁴⁶, и... «православие» (именно в кавычках, т. е. «Столпа»), и даже моя малость и это «стилизация» роковая, безысходная, от силы, от богатства... б<ыть> м<ожет>, люциферовского, дьяволического (в неоплатоническом смысле), от которого *не дано* освободиться. Около него я был бы задавлен, и мое глупое, но непосредственное и в *этом* смысле более подлинное церковное чувство молчало бы...⁴⁷ Поэтому, мне кажется, я понимаю, *почему* я удален и отлучен и от него, от единственного, чтобы пережить все, что мне суждено пережить*.

* А с ним, по-видимому, чувствую это без слов и заключаю из косвенных, до меня доходящих признаков, — опять происходит рецидив того, давно уже прошедшего и погасшего, казалось, люциферовского подполья, которое наглухо закрыто было, но не преодолено (ибо непреодолимо «αὐχιδῆς», ведь сам он называл себя несчастным «Гераклитиком») сверхчеловеческим усилием воли...

И я, действительно, не знаю, надо ли мне, пора ли мне ехать в Москву и обнаруживаться, или еще надо в тиши, молча, думать и зреть, пока Господь не призвет. Вверяю себя в его руку! Пусть Господь укажет путь мой!

17 июня. На горизонте моем опять появились грозовые тучи, возможно, что из С<имферопол>я угрожает мне опасность, и большая, хотя столь же возможно, что и ничего не будет. Предаю себя в руки Божьи! Страдаю за семью, но лично к перспективе смерти отношусь, если не спокойно, хотя и с недоумением, по-человечески мне казалось, что предстоит мне еще одно послушание на ниве церковной, — вещать и звать к соединению Церквей. Но неужодна ли Богу эта моя идея (чего я все-таки не могу в совести моей сознать) или же она так превышает мои силы, что мне дано о ней только посмертно возвестить, не знаю, Господь знает... И в России, и в Русской церкви творятся такие мерзости, что, будь я настроен эсхатологически, то линия наименьшего сопротивления и исторического испуга была бы бежать в эсхатологию и объявить уже наступление «мерзости запустения на месте святе», — последние времена. Но я, м<ожет> б<ыть>, накануне своего личного конца, настроен еще исторически: еще не выполнена задача *исторического* христианства, соединение Церквей, за которым наступит расцвет и подъем восточного христианства (бывшего «греко-российского православия») и осуществится миф о белом царе. Сейчас же Россия, подобно Византии, завоеванной турками, завоевана изнутри евреями и нигилистами, и происходит вполне аналогичное греческой Церкви под султаном. Но греки оказались бесплодной смоковницей, тот порыв, или хотя тяга к вселенскости, который у них все-таки обнаруживался перед падением Византии, сменился мелкой, тупой, фанатичной, безыдейной национальной враждой к Риму, и бесплодная смоковница была посечена, ибо, конечно, православный восток уже более 5 веков умирает исторической смертью и не проявляет признаков жизни. Россия сейчас находится в состоянии, аналогичном тому, что испытывала Византия после 1453 г., после падения⁴⁸. Она должна духовно самоопределиться под игом и либо развалиться, что она и делает, или же подвигом духовного рождения найти в себе силы победить интернациональность вселенским христианством. Сие буди — буди!

И ведь от Израиля не одно же жидовство интернационала, ведь наступит же обещанное время, когда он начнет спасаться,

и от него опять явятся вселенские апостолы, которые во все концы земли понесут апостольскую проповедь. Мне противно на прежний манер вещать и пророчествовать (тем более безответственно), но ведь надеяться-то на это можно и следует. Мы, русские, не годимся для этой роли: ленивы, слабы, робки, женственны, на это нужна еврейская неразстворимость, которая теперь проявляется беспримерной даже в истории *наглостью* всей русской революции и особенно большевизма, но тогда проявится апостольской ревностью. Однако реальных признаков обращения еврейства я не вижу еще, но вопрос о соединении Церквей считаю очередным, завтрашнего дня. Сие буди, буди!

16 июля 1922 г. Ялта.

Слава Тебе, Боже! Сегодня мне исполнилось 51 год, идет старость. Бесконечное благодарение и удивление пред чудесами милости Божией объемлет мою душу за всю жизнь, за все, за все: и за родителей, и за родину, и за Нелю и семью, и за то, что во всех моих грехах и слабостях Господь привел меня и допустил служить у Престола Его. Этот же год Он дал милостиво пережить, не погибнуть, вместе с семьей, от голода и от врагов, но сохранил, питал, просвещал! Ведь было безнадежно положение наше год назад, и Господь помиловал и все устроил! Как же могу я малодушествовать или сомневаться о судьбах ныне сотрясаемой и угрожаемой Церкви, как и о личной судьбе? Спокойно вверяю себя воле Божией. Этот год был необыкновенен и притом совершенно неожиданно значителен, я сделался вселенским христианином (вульго: кат/ф/оликом⁴⁹) и считаю задачей своей жизни, сколько даст мне ее Господь, исповедовать эту веру, как Господь укажет. Знаю всю свою слабость и не впадаю ни в малейшие иллюзии относительно своих сил, что, если Господь меня посылает, Он и научит, Он и устроит мою судьбу, нужно ли мне ехать в Москву или оставаться здесь. Грехи мои тяжкие, особенно за этот год, проведенный в вымирающем от голода приходе: на моих глазах умерло от голода много чужих и свойственных, которым я не помог и понесу на Страшном суде ответ за них, большой горестью и осознанным грехом маловерия и себялюбия отяготилася душа моя, и, как и прежде, молитва моя холодна и рассеяна, а леность моя и чревоугодие остаются прежние. Еще скорбь моя и забота — неустроенность Муночки, которая как-то не умеет благодарно пользоваться жизнью, и то, что Федя не учится. Но сейчас хочется только благодарить, славить дела Божии, явленные и неявленные бес-

численные благодеяния, бывшие на нас. И особенно дивно, что этот год оказался таким поворотным в моем церковном сознании, а между тем год назад казалось, что уже со всякой работой и движением покончено... Надо мною, как и над всей Русской церковью и русским народом, нависли тучи, но дивен Бог, творяй чудеса. Господи, благослови венец лета Твоея благодати. Предаю себя в волю Твою, жизнь ли или смерть, радости или скорби, утешения и испытания, научи только любить Тебя!

27 июля 1922 г. Ялта. День влмч. Пантелеймона⁵⁰. Ивашечкина кончина. Утро. Вот, Господь судил дожить до великого и священного дня — Ивашечкина успения. В первый раз за 13 (уже!) лет проводим его вне Олеиза, не на его могилке. Но зато сегодня моя служба, буду совершать литургию. На душе торжественно и радостно. Вчера на вечерне, видя какие-то красные блики на царских вратах, я испытал радостное волнение, от которого захватывало дух. Тихие и радостные зовы Ивашечки и обетования оттуда слышатся. Не Беатриче⁵¹ — нет, таковой у меня нет и она мне не нужна и неуместна, мне, иерею Божию, — но ангел Божий, который теперь вырос в великого гражданина неба, он меня встретит и поведет, он, ангел у Бога, возьмет мою слабую, но иерейскую десницу и приведет к Престолу Божию. Как таинственно, священно было все в эти отдаленные дни и ночи, и как мы должны благодарить Господа за это самое жгучее, самое мучительное страдание, которое только я испытал в жизни, и за страдание, и за откровение. И теперь все это остается и самым большим чудом в моей жизни, исполненной чудес, и самым значительным событием. Конечно, без этого я едва ли был иерей, т. е. не был бы тем, что я есмь, чем создан. Ныне Ивашечкина могилка в запустении: некому посадить цветочков, но, слава Богу, уцелел крест и на нем икона. Иногда, за последний год, когда думаешь о смерти (не трусливо, а просто, при свете нажитого мною здесь принятия смерти), так светло и радостно становится при мысли о всех близких и дорогих, которые есть там у Бога и которых я встречу и, конечно, на пороге ее я встречу Ивашечку. Ах, а затем папу и маму, братьев, родных, друзей, всех, кого знал и любил. Мне кажется совершенно ясно, что самая смерть для меня будет — явление Ивашечки, того бледного изящного молодого человека, которого видел в художественно-пророческом сне о. Павел (хотя ни сам он тогда, ни я не поняли преимущественно художественного, а *постольку* и пророческого характера этого сна, а увидели

в нем в самом деле предсказание, на что были так падки), и увидеть Ивашечку это будет такой восторг, которого не выдержит душа и, устремившись к нему, оторвется от тела... Но не хочу грешить и загадывать время. Пусть будет, когда Богу угодно. Да будет воля Твоя! Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне дожить до этого дня и встретить его в мире и светоносной небесной радости об Ивашечке! Иду в храм служить литургию.

6 сент<ября> 1922 г. Ялта.

Вот исполнился год, как по воле Божией вступил я в этот город для служения в здешнем соборе. Благодарение милосердному Господу, Который сохранил мне и милым жизнь в этот страшный год голода и зверства, дает предстоять Престолу Своему и молиться перед ним. Благодарение Господу, что он дал мне свет Свой и явил волю свою, — здесь в этот год открылись у меня глаза, и совершился во мне переворот и единение с Римом, который, если только я утвержусь в этом, составит мне призвание и служение на остающиеся годы жизни. Все чудесно и неожиданно, и это дало и дает мне силы жить и работать. Но в то же время царство зверя все мрачнее. За этот год совершенно развалена Русская церковь и лежит во прахе перед новыми господами, издевающимися над ней, она понесла такие жертвы, от которых теперь не оправится. Ей грозит испытание в песках посредственности и повседневности. Лично для меня также одна за другой закрываются перспективы. Переезд в Москву, который еще недавно казался столь осуществимым, теперь отходит за пределы досягаемости, и я не могу там получить места при теперешних церковных властях, я не могу устроиться материально и, вероятно, буду немедленно изъят, почему Ялта фактически превращается для меня в место заточения. Но с благодатной природой! и родное, Ивашечкино... В Москве Муночка, одинокая, бедная. Федя потерял место, ему и нам всем снова грозит полуголодное существование, ему грозит военщина, он дичает без образования, наконец, ему придется, отделившись от нас, уехать в Москву — неизвестно на что — то это будет еще хуже и опаснее, чем для Муночки. Но все здоровы (кроме временного, надеюсь, заболевания Сережи), держится моя Неличка, жива В. Ив., цела и благополучна семья, это главное, что теперь приходится ценить. Изъято и выслано большинство моих друзей, но цел о. Павел, дружба с которым в ближайшем будущем пройдет чрез огненное испытание, когда

он узнает о происшедшем во мне перевороте к унии с Римом. Господи, укрепи мою веру, спаси детей и родину, дай мне дожить остаток дней, не поддавшись духовной смерти, которую сеют слуги антихристовы. Благослови новое лето ялтинского служения!

P. S. В прошлом году оно открылось смертью Веры Ник<олаевны>. В этом — смертью Нат<альи> Петр<овны> (к последней я, впрочем, не иду на похороны). Сколько перемерло в этот год и перед сколькими я несу ответ, — умерли от голода и оба Кандинские.

